

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери - "Дуэль".

Снег, черные прутья дерева, двое черных людей проводят третьего, под мышку, к саням - а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый - Пушкин, отходящий - Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это - что его убили. Потом я узнала, что Пушкин - поэт, а Дантес - француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и - вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, - об этом _животе_ поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, печалась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась _сестра_. Больше скажу - в слове _живот_ для меня что-то священное, - даже простое "болит живот" меня заливают волной содрогавшегося сочувствия, исключая всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножью мизинную, с детской мизинцем, белую фарфоровую куколку - они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос - знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, - приставлять к гигантов подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост - сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! - и так как _черный_ был явлен гигантом, а _белый_ - комической фигуркой, и так как непременно - нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я - так явно предпочитаю - черную. Памятник Пушкина, опережая события - памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой - лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает - слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ - самых далеких и как будто бы - самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство - ее обратного. Пушкин есть _факт_, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет - раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть.

Немного позже - мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год - в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер - рождественский. Давали сцену из "Русалки", потом "Рогнеду" - и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке - Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а _она_ встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы _не_ любовь, что _это_ - любовь: когда скамейка, на скамейке - она, потом приходит он, и все время говорит, а она не говорит ни слова.

- Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? - мать, по окончании.

- Татьяна и Онегин.

- Что? Не Русалка, где мельница, и князь, и леший? Не Ротнода?

- Татьяна и Онегин.

- Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там

могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе: - Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

- Татьяна и Онегин.

- Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу).- Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: - Татьяна и Онегин! Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось "Татьяна и Онегин", все бы предпочли Русалку, потому что - сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

- Но почему, Мусенька, Татьяна и Онегин? - с большой добротой директор. (Я, молча, полными словами: - Потому что - любовь).

- Она, наверное, уже седьмой сон видит! - подходящая Надежда Яковлевна Брюсова {Сестра Валерия Брюсова. - М. Ц.}, наша лучшая и старшая ученица. - И тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

- А это, Муся, что? - говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ - улыбки благодарности. На обратном пути - тихом, позднем, санном, - мать ругается: - Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура - шести лет - влюбилась в Онегина!

Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее - немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда - когда расставались. Никогда не любила - когда садились, всегда - когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила она, потому и встала, они ни минуты не

были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес - она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена, предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на не-любовь - обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его - так, и только для того его, а не другого в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной - единоличной - всей на себя взятой - любви - прямо гений на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку - и руки, не страшась суда - то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах - сделала. И если я потом, когда уходили (всегда - уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.